

Станислав Мария
Салинский



ПОЛЬСКО-СИБИРСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Варшавский ЛОНГ-ПЛЕЙ



Польскосибирская библиотека

Станислав Мария Салинский

Варшавский лонг-плей

«Алетейя»

Салинский С.

Варшавский лонг-плей / С. Салинский — «Алетейя»,
— (Польскосибирская библиотека)

ISBN 978-5-907115-81-1

«Варшавский лонг-плей» – это продолжение воспоминаний польского прозаика и публициста Станислава Марии Салинского (первый, «Птицы возвращаются в сны», был издан в переводе на русский язык во Владивостоке в 2015 г.). Повесть посвящена «польскому» этапу жизни писателя, который родился и провел годы юности в Российской империи, а затем вернулся на свою историческую родину. Книга представляет картину жизни варшавской интеллигенции между Первой и Второй мировыми войнами – в период обретения Польшей долгожданной независимости и расцвета национальной культуры. Благодаря описаниям районов, улиц и переулочков, известных или канувших теперь в небытие театров, кафе, мест встречи столичной богемы, литераторов, журналистов, художников, ученых, мы можем окунуться в неповторимый климат места и эпохи. «Варшавский лонг-плей», словно долгоиграющая патефонная пластинка, увлекает нас в круговерть событий накануне страшной войны, а игла повествования то и дело перескакивает назад, во владивостокские годы, в безмятежную жизнь на другом «полюсе» земного шара, и вперед, в послевоенное время, на прогулки по тенистым аллеям, названным именами бывших друзей и коллег писателя.

ISBN 978-5-907115-81-1

© Салинский С.

© Алетейя

Содержание

Щегол	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

С. М. Салинский

Варшавский лонг-плей

Щегол

Если б я встретил его теперь, четверть века спустя той эпохи, я безошибочно узнал бы его даже издали, хотя был он неприметен: среднего роста, коренаст, седоус, типичный мазовшанин¹, холоп напополам с барином и, кажется, все в той же красной фуражке, незаметно выгорающей от времени. Неизменно в фуражке, хотя я знал, что без нее он совершенно лыс. Лысина мне запомнилась лучше всего, по контрасту с крепким загаром лица человека, большую часть суток пребывающего на свежем воздухе.

Если б я встретил его... Но не встречу. Он пропал на последнем обороте пластинки. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую Краковского предместья² напротив отеля «Бристоль»³, прямо перед машиной с ревущей сиреной. С тротуара обернулся, за сиреной мостовую обмело клубами пыли, пылью покрылся и подъезд к отелю, и компания стоявших под навесом. Больше я его не видел.

И не увижу. А ведь он все эти долгие годы терпеливо сидел на своей лавочке, возле которой на бесшумных шариковых подшипниках вращалось колесо моей варшавской жизни. Или пластинка... Оно представляется мне граммофонной пластинкой, по которой я передвигался, как игла, с дорожки на дорожку, от края все ближе к центру, от центра все ближе к концу. Он был при первом звуке, проигранном ею для меня (не забуду: стук лошадиных копыт по мокрой деревянной мостовой на Маршалковской⁴) и при последнем: завывающей на Краковском предместье сирене воздушной тревоги. Все эти долгие годы, когда я проплывал мимо его лавочки, он, преклонный наблюдатель моего движущегося по направлению к смерти времени, снимал свою фуражку мухоморного цвета, трогательно сверкая круглой лысиной. Остановил он мой лонг-плей⁵ на последнем обороте, на панической перкуссии зенитных пушек и басепрофундо эха бомбы, разорвавшейся где-то в стороне Окенче или Воли⁶.

Последний звук, оставшийся в ушах от предыдущей пластинки: шипящий в железнодорожном тупике варшавского вокзала паровоз, треск открывающихся дверей вагонов. И всюду этот польский язык.

Выхожу на перрон, все еще со смутным ощущением, что это какой-нибудь пригородный вокзал под Варшавой; из окон вагона подъезд к столице выглядел совсем не презентабельно. Вокзал смахивал на окраинную владивостокскую Первую Речку⁷, а оттуда не ближний свет до сити, центра города. Первый вопрос билетеру у выхода: «Это Варшава?» В ответ бесцеремонное: «А не видно, что Варшава?»

¹ Мазовшанин – житель Мазовии, исторической области в центре Польши, главный город которой – Варшава. – *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, прим. пер.*

² Краковское предместье – улица в центре Варшавы; связывает расположенный на берегу Вислы исторический Старый город с современным центром столицы.

³ Отель Бристоль стоит на прежнем месте до сих пор. Сегодня это самая дорогая и старая (функционирует с 1901 г.) гостиница Варшавы.

⁴ Улица Маршалковская – одна из центральных улиц Варшавы.

⁵ *Long-play (LP, англ.)* – долгоиграющая пластинка с записью на 33 оборота в минуту, предназначенная для проигрывания на граммофоне, а также название формата такой звукозаписи.

⁶ Окенче, Воля – районы Варшавы.

⁷ Первая Речка – железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги, на которой останавливаются городские электропоезда; сортировочная станция.

Не видно. Багаж не забираю, а то куда же с ним? Два тяжелых чемодана, куда? С ручной кладью иду за людьми по вестибюлю, который называется здесь залом ожидания, озираюсь в поисках таблички «Money exchange», виденной мною на всевозможных сухопутных и морских вокзалах. Ничего подобного. Выхожу на лесенку у входа. Запах города. Первый звук: лошадиные копыта о мостовую.

С неба сыплется мокрая пыль, дождь-не дождь, туман-не туман. Конец мая, а холодно. Я еще не знаю, что здешний май – не лето, изморось называется грибным дождиком, а две улочки, пересекающиеся у вокзала, напомнившего мне Первую Речку – это Маршалковская и Иерусалимские аллеи, главные городские магистрали. Безликие каменные дома по обе стороны мостовой, тусклые ряды фонарей. Запах. У любого большого города, как у человека, есть собственный запах. Тут попахивало затхло и убого, намокшим деревом, грибной сыростью гниющих досок. На мостовой вместо камня или асфальта – пропитавшаяся водой деревянная кладка. Вот чем пахнула на меня Варшава.

С чувством все большей беспомощности я спустился по ступенькам на тротуар. Первые варшавские минуты: холодно и сыро, запах прелой древесины. Через десять с лишним лет эти первые минуты сложатся с последними мгновениями моей межвоенной Варшавы, будет жара, будет смрад бензина на площади у Президентского дворца и – та же беспомощность на пороге грядущего Неизвестного. А на заднем плане этих минут, первых и последних, все тот же, нисколько не изменившийся, и холопского, и барского вида, в той же красной фуражке, с той же дружелюбной усмешкой – варшавский посыльный, «щегол»⁸. Он встал с лавочки у стены, подошел и завел пружину. Застучали о деревянную мостовую лошадиные копыта, пластинка медленно двинулась вкруговую. Потекло мое варшавское время.

За все эти годы я обменялся с ним едва ли несколькими фразами, как раз при первой встрече. Единственного нашего словесного диалога я, конечно, точно не помню, но смысл его был таков: «Куда отнести ваш чемодан, *шановны пан*?»⁹ (Я впервые слышал это обращение). Я поблагодарил, отнесу сам – в бумажнике у меня были только крупные долларовые банкноты, так что заплатить за услугу я не мог. «Есть поблизости какая-нибудь недорогая гостиница?» «Конечно, *шановны пан*, есть». Он указал рукой налево, подвел меня к краю тротуара, показал на две пересекающиеся Маршалковскую улицы. «Первая это Видок, а следующая – Хмельная, там есть гостиницы, а недалеко, за угловым домом, отель «Роял» под номером тридцать один, *шановны пан*». Он смерил меня взглядом с головы до ног, исподтишка и со знанием дела. Конечно же, заметил, что что одет я не по-здешнему (борсалино¹⁰ и плоский чемодан из Триеста, клеенчатый плащ из Вены). Тактично присовокупил аллюзию-совет, чтобы не дать всяким там обвести себя вокруг пальца, *шановны пан*. Я поблагодарил. Борсалино и красная фуражка обменялись салютами.

Каньон Хмельной, те же запах, сырость, чуждость. Гостиница «Роял», хмурый толстый портье, с подозрением листающий мой триестский консульский паспорт, замысловатые графы регистрационной анкеты. Имя и фамилия, дата и место рождения, и так далее, и тому подобное. В одной графе нужно было определить тип проживания – постоянное или временное. Секунда глубокого колебания, перо само вывело: «Временное».

Горничная снимает с гвоздя ключ на кольцо, она покажет номер.

⁸ Профессия посыльного появилась в столице Польши в 1878 г. и просуществовала вплоть до Второй мировой войны. В отсутствие телефонов посыльные пользовались большой популярностью, их главным занятием была быстрая доставка записок, писем и посылок из рук в руки, другие мелкие поручения: например, покупка билетов в театр или доставка багажа. Посыльные обычно ожидали «клиентов» на скамьях у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках в центре города. В XX в. функционировало два агентства, работники которых носили фуражки с красным околышем, ставшие отличительной чертой их рабочей формы. Из-за цвета этих головных уборов их прозвали «щеглами».

⁹ «Szanowny panie» – в польском языке вежливое, формальное обращение к лицу мужского пола.

¹⁰ Борсалино – фетровая шляпа с широкими полями; название, ставшее нарицательным, происходит от итальянской фабрики, выпускавшей шляпы с середины XIX века.

В 1949 году я писал для «Курьера польского» роман с продолжением, действие которого частично проходило в Нанте. Мой вымышленный герой, отставной капитан Гриффитс, снимает комнату в гостинице. Этот эпизод – верный отголосок моего отеля «Роял». Вот...

«... она сняла с крючка ключ на латунном кольце и проплыла к узким ступенькам в глубине вестибюля, одаривая капитана Гриффитса приглашающей улыбкой. На крутой лесенке, едва освещенной моргающей газовой лампой, воняло кошками. Было душно и нехорошо. Он взбирался и взбирался по трескучей лестнице, вслед за пышным задом консьержки.

В комнате-клетушке она повернула выключатель. Астматическая лампочка осветила интерьер: кровать, столик, накрытый плюшевой салфеткой, стул, эмалированный умывальник и биде в углу.

– Voilà! – она обвела пухлой рукой гостиничные хоромы – C'est bien ici. N'est ce pas?

– Bien¹¹, – буркнул он.

Помешкав, она вышла. Наконец один. Он с облегчением снял плащ и кепи, расстегнул воротничок мундира. Душно, очень душно. Приблизился к окну с широким подоконником, отодвинул пыльную занавеску и открыл настежь рамы. В лицо дунул сырой ветер. Блестящие крыши лоснились матовой сталью...»

Было очень душно и нехорошо. Я стоял у окна с видом на мокрые крыши и втолковывал себе, что это Варшава. Эти крыши – Варшава, эта плюшевая салфетка – Варшава, эта подозрительная кровать – Варшава, глухие неразборчивые голоса, гудящие во дворе-колодце – Варшава. И угнетающее сознание, не имеющее никаких логических оснований, что я здесь останусь. «Временное» – написалось само, перо написало, не я. Что-то такое произойдет, и я останусь.

Я стоял у окна с видом на мокрые, лоснящиеся крыши Варшавы, на стыке двух своих собственных существований, еще вибрируя эхом вращения колеса, замершего вместе с колесами локомотива, и пока не ощущая движения пластинки, на которую пересел. Время остановилось на цифре, напоминающей по форме букву «N», на первой букве в названии пронзительной тоски, имя которой – ностальгия.

На стыке двух собственных существований, разделенных конрадовской теневой чертой¹². Пожалуй, что тогда я над этим не раздумывал и сознательно не планировал, но может, и было искушение: взобраться на узкий пыльный подоконник, развести в стороны руки, отвесно рухнуть вниз, на черное дно двора-колодца, наперерез самой темной в моей жизни тени. Возможно, что какую-то долю секунды такое искушение было, но на страже его наверняка стоял инстинкт самосохранения.

Самая темная черта... А ее отражение повторилось десять с лишним лет спустя совсем в другом месте, в абсолютно иной обстановке, в определенный день и час. Шестнадцатого сентября 1939 года я смотрел с высокого холма на долину, где за Горынью¹³ вилось шоссе. Жаркая духота самого погожего польского сентября. По шоссе под порывевшим небом непрерывно тянется шнур машин, устремляющихся к Залещикам¹⁴. Я смотрю на это с каменным сердцем, с каменным сердцем...

¹¹ «Здесь хорошо. Не так ли?» – «Хорошо» (*фр.*)

¹² Имеется в виду книга польско-британского писателя Джозефа Конрада «Теневая черта. Признание» («The Shadow Line: A Confession»), впервые опубликованная в 1917 году.

¹³ Горынь – река на территории современных Украины и Беларуси, правый приток Припяти.

¹⁴ Залещики – украинский город, расположенный на левом берегу реки Днестр. В 1939 г. после нападения Германии на Польшу в Залещиках некоторое время находилось польское правительство, позднее эвакуировавшееся в Англию.

Но тогда, у окна, на одном из верхних этажей гостиницы «Роял» я, конечно, не знал, что с таким же каменным сердцем, как теперь на лоснящиеся варшавские крыши, я буду смотреть на рыжие клубы пыли над далеким шоссе. Я стоял долго, и столь же долго стрелка часов стояла на букве «N»... Наконец, я отлип от подоконника, выудил из чемодана остатки чешских кренделей, купленных в Праге или Богумине, запил несколькими глотками затхлой воды из шербатого кувшина. Это тоже Варшава, первый варшавский ужин. Я отвернул плед на кровати, на простыне различимы были пятна и следы от клопов. И это Варшава: клопы. В мокрой тишине отражался от окна стук лошадиных копыт о мостовую.

На следующий день поздним утром, кое-как побрившись и умывшись, я вышел из «Рояла» на улицу в направлении вокзала. Однако же, май есть май, и днем перекресток двух главных городских магистралей выглядел как-то более по-столичному. Из-за зелени небольшого скверика выглядывала кровля какого-то зданьца с неясным намеком на китайскую архитектуру (а это была просто общественная уборная). Башенка на угловом здании железнодорожного вокзала чем-то напоминала мавританские строения – в Александрии мне запомнился похожий силуэт минарета на фоне неба. Магазины, витрины, старые трамваи, «третий», «семнадцатый». У «третьего» был открытый прицепной вагон с поперечными сиденьями, как в Коломбо. Прицепной вагон «семнадцатого» был очень забавным, похожим на дилижанс, в него надо было подниматься со стороны мостовой по лесенке. Всюду польский язык. Среди прохожих много молодых людей в белых конфедератках с малиновым околышем. Какое-то формирование, но какое? (через год я сам буду носить такую братнякскую¹⁵ фуражку студента университета). Инстинкт привел меня к пункту обмена валют на Волянской, напротив вокзала. Наконец, в кармане у меня были польские марки¹⁶. Первое приобретение: в ближайшем писчебумажном магазине, открытка с памятником Мицкевичу.

У входа в вокзал сидел на лавочке мой вчерашний барич. Борсалино и красная фуражка обменялись салютами. Его и моя дружелюбные усмешки. И с тех пор при каждой мимолетной встрече, многие годы, салюты и усмешки сопровождались молчаливым диалогом. А звучал он примерно так: «Ну как, *шановны пан*, хорошо ли спали?» «Да, хорошо, хорошо, только уж эти ваши клопы...»

Во время завтрака в привокзальном ресторане я написал домой, в первый и последний раз обращаясь к отцу (все письма родителям я почему-то писал и адресовал только матери). Это было отцу. Я хотел доставить ему особенное удовольствие: письмо от сына из Варшавы. Из Варшавы!

Эту открытку мать привезла мне назад. Отца уже не было в живых. Надпись на ней была лаконичной, но ведь дело было в удовольствии, в самом факте, что из Варшавы. Она гласила: «Дорогой отец! Я в Варшаве, цел и здоров. Это *чудестный* город. Сын».

Знал же я орфографию, совершенно не понимаю, какое затмение ума или злой дух заставили меня написать это несчастное «чудестный» – наверное, то был подсознательный сигнал, что с чудесностью Варшавы что-то не так. А когда открытка вернулась, я узнал, до какой огромной степени она не доставила удовольствия отцу. Прочитав, он швырнул ее на письменный стол. Он не предполагал, – как он выразился, – что я не знаком с польским правописанием. Он был очень расстроен. Неважно, что карточка из Варшавы, что от меня: «т» затмило собой все. Первое и последнее мое письмо отцу.

Я написал открытку. Расспрашивая прохожих, добрался до почты на площади Варецкого, купил марку, опустил в ящик ложь о Варшаве, с чувством полной бессмысленности происходящего. Ведь мой Владивосток сейчас дальше, чем луна. Едва перевалило за полдень, а там

¹⁵ Братняк – разговорное название бывших студенческих организаций «Братская помощь студентов», существовавших в нескольких крупнейших ВУЗах Польши.

¹⁶ Польская марка – денежная единица Польши в 1917–1924 гг. и Срединной Литвы в 1921–1922 гг., делилась на 100 фенигов. После 1924 г. заменена польским злотым.

уже ночь. Родители поужинали и готовятся ко сну. Над Золотым Рогом¹⁷ горят майские звезды, а на рейде топовые огни пароходов. В широкие открытые окна моего дома wpłyвает океанская ночь.

Стало быть, первый наш с ним диалог был про сон и про клопов.

Я продвигался с дорожки на дорожку, все ближе к центру, от центра все ближе к концу пластинки с финальным стаккато и басом-профундо. Он неусыпно следил за вращением моего варшавского времени, меняя место постоя и лавочки: потом я видел его на углу Братской и Иерусалимских аллей, у входа в «Кристалл»¹⁸, а через несколько лет – перед торговым домом «Братья Яблковские»¹⁹. Менялись мои шляпы: то хорошие, то плохие, то дорогие, то дешевые. Какое-то время братнякская конфедератка, потом снова шляпы. Чешская шляпа из Моравской Остравы, голландская шляпа, шляпа, купленная в Риге за день до планируемого занятия Ковно Рыздем²⁰. Мы со Станиславом Роттертом²¹ должны были стать первыми польскими журналистами в Ковно (приехав со стороны Риги), по этому случаю я купил себе прекрасную плисовую. Я вырослел и менял шляпы. Хранитель моего времени ветшал и сидел все в той же выцветшей фуражке. При каждой встрече мы обменивались несколькими фразами без слов.

В бытность его перед вокзалом Варшава-Главная²² я часто путешествовал. В Польше, как оказалось, было что посмотреть. Одной из первых была поездка в гдыньскую глушь, на безнадёжные дюны, к серому пустынному морю. Трудный, долгий и замысловатый путь, в обход Гданьска²³, и только за тем, чтобы узнать: ни польского флота, ни каких бы то ни было польских судов нет в помине. Мы поздоровались, когда с чемоданом в руке я поднимался по ступеням вокзального подъезда. Диалог звучал: «Счастливого пути. Далеко ли, *шановны пан?*» «В Гдыню, вербоваться на судно!» Мы поприветствовали друг друга после моего возвращения, он ждал на прежнем месте, на лавочке. Диалог: «Ну и что, *шановны пан?*» «Фига с маслом».

Иногда он возникал то тут, то там спустя полгода или год. Пожалуй, чаще всего мы встречались, когда тот поджидал клиентов перед «Удзяловой»²⁴ на углу Иерусалимских и Нового Свята. Ему случалось видеть меня в обществе разных женщин. Он, очевидно, это запомнил, и диалоги звучали тогда примерно так: «А *пан шановны* теперь с женой, или как?» В ответ: «Еще нет, мне не к спеху». Он понимающе улыбался. Однажды мы столкнулись с ним на лестничной клетке одного дома на Крулевской. Я поднимался на четвертый этаж и увидел его выходящим из дверей, к которым как раз направлялся. Я нес завернутые в бумагу розы. Он глянул на

¹⁷ Золотой Рог – бухта к северу от пролива Босфор Восточный Японского моря, по берегам которой расположен город Владивосток. Здесь находятся порты, судоремонтные предприятия, через бухту проложен вантовый Золотой мост.

¹⁸ Первоклассный ресторан, располагавшийся по адресу: ул. Братская, д. 16.

¹⁹ Построенный в 1914 г. и действующий до настоящего времени универмаг, располагающийся по адресу: ул. Братская, д. 25 (здание в стиле модерн чудом уцелело в бомбардировках Второй мировой войны). До 1939 г. был крупнейшим универмагом Польши, предлагавшим посетителям товары по последней парижской моде (также с доставкой по почте); на 3 этаже размещалось кафе.

²⁰ В 1919 г., в ходе Советско-польской войны, польская армия под командованием ген. Эдварда Рыдза по прозвищу Смиглы («проворный») заняла г. Ковно (Каунас), где располагалось литовское правительство.

²¹ Станислав Роттерт (1900–1962) – польский журналист, в молодости легкоатлет и чемпион Польши. Был спортивным обозревателем, а затем редактором нескольких варшавских газет.

²² Варшава-Главная, или Венский вокзал – главная железнодорожная станция Варшавы с 1845 до 1920 г. В межвоенное время было запроектировано новое монументальное здание вокзала в минималистичном стиле с элементами арт-деко, которое должно было стать одним из самых современных и больших вокзалов Европы. Однако строительство затягивалось, и до 1938 г. функцию вокзала на главной железнодорожной станции столицы выполняла временная деревянная постройка, а во время Второй мировой войны здание было полностью разрушено.

²³ Гданьск, Гдыня – расположенные рядом портовые города на севере Польши, у Балтийского моря. 10 января 1920 г. согласно 11-му разделу 3-й части Версальского договора 1919 года был образован Вольный город Гданьск (нем. Данциг) – город-государство. На его территории находились собственно Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. В соответствии с решением Лиги Наций город не являлся частью ни Германии, ни Польши.

²⁴ Кафе «Удзялова» («Udziałowa») – одно из самых популярных кафе довоенной Варшавы, место встречи интеллигенции, артистов, литераторов.

меня, загадочно улыбнулся и сверх обычного покачал головой. Как он учуял, что я направляюсь именно к тем дверям? Потом я воссоздал диалог на той лестнице. «Зря вы так себя утруждаете, пан шановны». А вам-то какое дело? – строптиво подумал я. Мой барич черной кошкой пробежал между мной и дамой, которая сразу же открыла дверь на четвертом этаже, очень удивленная и озабоченная, вся покрытая румянцем, так как в этот момент разворачивала бумагу на розах, только что врученных ей посланцем. Эти розы были дороднее и победительнее моих. Из-за двери осторожно выглянул астральный, черный, ироничный кот в красной фуражке.

В свое время я совершил журналистский подвиг: в тот день, когда польская подводная лодка «Орел» прибыла из голландской верфи в Гдыню, варшавская вечерка «Курьер червонный» побила рекорд информационного обслуживания. Еще не закончилась торжественная встреча в Гдыне, а газетные развозчики уже разносили по всей Варшаве «червонку» с подробным описанием торжества, речью генерала Казимежа Соснковского и даже большой фотографией всплывшего на поверхность «Орла» (снимок был сделан во время испытаний во Флиссингене, мы лишь слегка подретушировали флаг с голландского на польский военный). За сей подвиг я получил от административного директора «Дома прессы», незабвенного Антония Левандовского, премию: товарный купон на восемьсот злотых от «Братьев Яблковских». Директору Левандовскому это обошлось не слишком дорого, всего-навсего чуть больший формат объявления Торгового дома в одном из воскресных номеров «Курьера червонного», а мы с женой несколько дней ходили на Братскую и выбирали всякую всячину на этажах богато оснащенного, как теперь говорят, ЦУМа. (А в те времена с умом потратить восемьсот злотых было непросто: к примеру, штука жирардовского льна²⁵ стоила семнадцать злотых, первоклассные лаковые туфли двадцать пять, лошадка на полозьях семь пятьдесят, превосходный домашний халат шестнадцать, плитка шоколада – злотый). В последний день покупок, когда мы выходили из магазина, по уши нагруженные свертками и сверточками, он приподнял свою красную фуражку. На сей раз я не снял шляпы, а только кивнул ему в ответ, поскольку руки у меня были заняты. Диалог звучал: «Поди ж подфартило, шановны пан?» «А, подфартило, подфартило. Без труда не выудишь рыбку из пруда».

Одна из последних встреч произошла примерно в том же месте, где мой стражник впервые возник среди враждебного, холодного мира чужой мне Варшавы. Старого Венского вокзала с его мавританской башенкой уже давно не было, а двадцатью шагами дальше, там, где кончалась улица Панкевича, стояло громадное здание нового центрального вокзала. Строительство подходило к концу. Однажды утром часов около восьми в редакции «Курьера червонного» зазвонил телефон: горит Варшава-Главная. Техническая подготовка «червонщиков» была уже на таком уровне, что на место пожара моментально выехала редакционная машина с репортерами и фотографом. Фоторепортер вернулся через двадцать минут с готовой катушкой снимков. Поставили на ноги цинкографию, и не прошло и часа, как большое, в четыре столбца, клише было готово. Репортеры диктовали прямо на линотипы. В девять тридцать первая партия тиража отправилась в город с душераздирающим воплем разносчиков: «Пожар Варшавы-Главной, сенсация, таинственный пожар вокзала Главная, вокзал Варшава-Главная горит...!»

Разносчики на велосипедах неслись прямо на толпу, собравшуюся на тротуарах и мостовой в районе пожара. Кажется, тогда впервые применили пожарную лестницу-гигант, доставшую девятого или десятого этажа. Пожар еще бушевал, на фотографии в «червонке» видна была лестница-гигант, а на самом ее верху – пожарный с рукавом. Пожарный еще торчал на лестнице, в чем толпа могла убедиться воочию. Я приехал на место пожара на машине вслед за развозчиками, газеты с еще не просохшей краской люди выдирали друг у друга из рук. Я

²⁵ Штука (полотна) – старая мера длины, не имеющая определенного значения, ткань в куске. В среднем равнялась 48 локтям. Жирардов – город недалеко от Варшавы.

вышел из машины у тротуара. В нескольких шагах от меня стоял он с «Курьером червонным» в руке, читал репортаж с места пожара. Мы поздоровались, как обычно. Он покивал головой с одобрением. Диалог звучал: «Молодцы эти газетчики, а, *шановны пан?*» «Точно, молодцы».

Это была одна из последних встреч. Последняя – пятого сентября 1939 года, в двенадцать с небольшим. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую Краковского предместья. За мчащейся машиной с ревущей сиреной клубилась пыль. Из-за нее еще мелькнула мне в последний раз красная фуражка. Выли сирены. Я бежал к трамваю на углу Крулевской. Полицейский кричал: «В подворотню, в подворотню...» Далекая канонада сыпалась, как горох. Выли сирены.

Пятого сентября около одиннадцати нас вызвали в кабинет главного редактора издательств «Дома прессы» Хенрика Буткевича. Мы шли со смутной надеждой, что может, наконец-то... Какой-то проблеск правды – что происходит?... Вчера в газете мы написали, что наши «Лоси»²⁶ успешно бомбят Берлин, а вечером из-под Сохачева приехал на машине замглав, Вацлав Сыручек, привез оттуда свою Эвочку с каникул. Он собственными глазами видел близ Сохачева немецкие танки. Собственными глазами! Кому верить? Своей газете? Сыручеку? Что происходит, кому верить?..

У меня сохранился номер «Курьера червонного» третьего дня войны. Сводки добывал, в основном из радиосводок агентства «Хавас»²⁷, наш стенограф-«перехватчик» Богуслав Калясевич. Хаотичные и отрывочные сведения передавало варшавское радио. ПТА (Польское телеграфное агентство) тоже транслировало сводки, выхваченные из фантазийного «Хаваса, а также приводило коммюнике штаба Верховного главнокомандующего. Заголовки этим новостям обычно придумывал я. Вот они: шестиколоночный для передовицы «Курьера червонного»: «Шесть вражеских бомбардировщиков сбиты сегодня над Варшавой. Французские войска продвигаются вглубь Германии. Английский экспедиционный корпус на пути во Францию». На той же странице призыв правительства сохранять спокойствие, заканчивающийся словами: «Правительство заверяет все население, что под руководством Верховного главнокомандующего будет с величайшим напряжением сил и непоколебимой верой в победу Польши и ее союзников до самого конца вести дело обороны государства».

И дальше: «В Берлине, как в окопах, паника, отупение и отчаяние». «Шестьсот английских самолетов произвели бомбардировку Германской империи». На этой же странице пятое коммюнике Штаба Верховного главнокомандующего, переданное ПТА по телетайпу: «На юго-западном фронте наши войска сдерживают напор неприятеля. На линии Щерцув – Варта – Каменск идут ожесточенные бои. На познанском²⁸ фронте спокойно. Потери вражеской авиации: вчера мы сбили четырнадцать самолетов».

А Сыручек рассказывал, с каким трудом они окружными путями, по полям и бездорожью, продирались к Варшаве. Верить – не верить? Верить тому, кто своими глазами видел неприятеля под Сохачевом, то есть в преддверии Варшавы (люди, люди, немцы под Варшавой!) или бумажной ленте, с тихим шелканьем вылетающей из телетайпа, что в Берлине паника? Шел четвертый день войны.

На пятый день около одиннадцати мы собрались в кабинете главреда. Недовыспавшиеся, недомытые, уставшие, отупевшие. Почти круглые сутки мы проводили в наших редакциях на Маршалковской, 3, тут же и ночевали в импровизированной гостиной на раскладушках, на письменных столах, где придется. Питались как попало, в буфете на пятом этаже, в ресторане

²⁶ ПЗЛ-37 «Лось» (*PZL.37 Łoś*) – двухмоторный польский самолет-бомбардировщик времен Второй мировой войны.

²⁷ «Хавас» («*Havas*») – французское информационное агентство.

²⁸ Познань – город на северо-западе Польши. 10 сентября 1939 немецкие войска захватили город и присоединили его к Рейху.

«Дом номер 2» напротив редакции. Как попало, что попало – во все возрастающем физическом и психическом хаосе. Работа над газетой превратилась в какую-то иррациональную игру в жмурки, машины функционировали как полагается, а люди у них метались, мысли прыгали шахматным конем.

Не знаю, кто и чем руководствовался при выборе из большого коллектива журналистов-сотрудников «Дома прессы» (несколько ежедневных газет с их местными разновидностями и несколько еженедельников) именно такого состава. В кабинете собрались: Здислав Бау, Александр Бергман, Вацлав Боровы, Кшиштоф Чижевский, Казимеж Грыжевский, Януш Ковалевский, Ян Намиткевич, Ян Велёвейский и я.

Главред был лаконичен: сейчас же ехать в Президиум совета министров на Краковское предместье, быть там в одиннадцать сорок пять. Важная конференция.

Был уже двенадцатый час. Снова завывало радио: «Внимание, внимание, город Варшава, воздушная тревога», и опять какие-то «шо-колад» и «Ка-роль»²⁹. Вот оно, снова. Мы до сих пор ничего не знаем. Узнаем на Краковском.

Поехали туда кто как, своим ходом. Такси не было и в помине, но некоторым повезло. Самые предусмотрительные поехали на редакционной машине. Я был в хвосте, едва успел на автобус «Б», курсирующий от площади Люблинской унии по Краковскому предместью. Автобус еле тащился, пока его, наконец, не пригвоздило воздушной тревогой на Мазовецкой. Нет времени переждать. Я бежал что есть мочи по Саксонской площади на Краковское предместье, во Дворец наместника³⁰ ввалился, наверное, последним. В большом зале налево от вестибюля стояло человек сорок, сплошь знакомые лица, журналисты всех варшавских изданий. Я поздоровался с одним и с другим, затем в глубине зала открылись двери. Позванивая шпорами и посверкивая военными знаками различия, вошла группа во главе с коренастым человеком в штатском. Лицо знакомое: воевода Силезии³¹, Михал Гражинский.

Среди военных также известные: полковник Выжел-Сцежинский, серый кардинал прессы; полковник Умястовский (а два дня спустя начнут свои бессмысленные скитания по дороге на Люблин «легионы Умястовского»³²); полковник Адам Коц, шеф Лагеря национального объединения³³; серый кардинал Славоя Складковского³⁴ Ставиский из Министерства внутренних дел (и мой собутыльник на отвратительной, гротескной попойке у мадам Славой-Складковской в Помехувек³⁵, но об этом как-нибудь в другой раз). Ставиский помахал мне радушно, как будто хотел приободрить, что все не так плохо.

Зал, залитый ярким солнцем. За окнами важно золотилась зелень деревьев. Было что-то ободряющее и в этом солнце, и в зелени. Ставиский наверняка знает, как обстоят дела на самом деле, этот ободряющий жест неспроста. А может, война окончена, и победа за нами? Берлин в руинах? Сокрушительный удар Англии и Франции, это ведь мощные державы.

Над дверями, в которые они вошли, висели огромные часы. Было без шести двенадцать.

²⁹ Зашифрованные сообщения противовоздушной обороны, передававшиеся по радио, когда имели место проблемы со связью.

³⁰ Дворец наместника, или Президентский дворец в Варшаве, расположен на улице Краковское предместье, 46/48.

³¹ Силезия – один из крупнейших административных округов (воеводств) Польши; во главе каждого воеводства стоит воевода – представитель центральной власти в своем регионе.

³² Во время сентябрьской кампании полковник Роман Умястовский (1893–1982) был шефом пропаганды в Штабе Верховного главнокомандующего. 6 сентября он призвал жителей Варшавы участвовать в строительстве баррикад и укреплений ввиду угрозы немецкой интервенции, а всех еще не мобилизованных мужчин, способных держать оружие, немедленно покинуть город в восточном направлении и вступить в ряды армии.

³³ Лагерь национального объединения (*Obóz Zjednoczenia Narodowego, OZN*, в просторечии *OZON*) – польская правительственная политическая организация «пилсудчиков», действовавшая в 1937–1939 гг.

³⁴ Генерал Фелициан Славой-Складковский (1885–1962) – премьер-министр Польши в 1936–1939 гг.

³⁵ Помехувек – деревня в сорока километрах от Варшавы.

Воевода окинул нас взглядом. «Здравствуйте, господа, – сказал он воинственным тоном. – Только что состоялся знаменательный акт...»

Небольшая пауза. Он был хорошим оратором, умел произвести впечатление.

Этой паузой было сказано много. Знаменательный акт? Ну, конечно: знаменательный акт. Думаю, большая часть присутствующих мгновенно сопоставила все знаки на небе: капитуляция Германии, перемирие, начало переговоров с Гитлером. Чье-то могущественное вмешательство – папы римского, Лиги наций, да хотя бы Муссолини.

Воевода оглянулся назад, на часы. Стрелка передвинулась на минуту. Без пяти двенадцать.

«... господин президент назначил меня министром информации».

Пауза.

Все пропало: и капитуляция, и папа римский. Еще проблеск надежды, что вот он скажет что-нибудь необыкновенное, важное, уже в качестве министра информации. Сказал:

«Министерство временно располагается во Львове. Министерство функционирует во Львове с завтрашнего дня».

Не знаю, промелькнуло ли у меня это в голове, или кто-то рядом процедил сквозь зубы: «Без пяти минут министр, черт его подери...»

И последние слова министра:

«Прощайте, господа. Подробности вы узнаете от полковника Сцежинского».

Они повернулись к дверям под часами, бряцая шпорами, сверкая знаками различия. Нескольким коллегам-журналистам удалось настичь Сцежинского: что, как, когда, почему. Точная информация. Дайте нам точную информацию. Из хаотичных вопросов и ответов следовало только, что – как вы слышали – министерство с завтрашнего дня располагается во Львове, сегодня вечером во Львов отходит специальный поезд министерства с господином министром и с нами. С нами? Да, с нами, мы – сотрудники министерства. Подробные инструкции и время отправления поезда каждая редакция получит по телефону. Собирайтесь.

Мы высыпали во двор и на тротуар Краковского предместья, каждый в свою сторону. Я проходил мимо подъезда «Бристоля», был без шляпы, поэтому только поднял руку в знак приветствия. Он засиял лысиной. Диалог: «Ну и что, *пан шановны*? Что с нами будет?» «Да вот, есть у нас без пяти минут министр, его и спросите». Завыли сирены воздушной тревоги. Я пробежал наискосок через опустевшую в панике мостовую, на углу Крулевской стоял трамвай. За мчащейся машиной с ревущей сиреной клубилась пыль, из-за нее мелькнула мне еще раз красная фуражка. Полицейский кричал: «В подворотни! В подворотни!» Позади Саксонского сада горохом сыпалась далекая канонада.

Конец. Кто-то где-то: «Внимание, внимание, конец тревоги». Спазм кровеносных сосудов города прекратился, сердце города дрогнуло, преодолев смертельную паузу. Зазвонил, заскрежетал трамвай. По тротуарам задвигались люди. Затрубили клаксоны.

Я сидел у окна. У «восемнадцатого» была длинная трасса, с Праги³⁶ через все Краковское предместье и Новый Свят до Иерусалимских аллей, а по Иерусалимским до Маршалковской, по Маршалковской до площади Люблинской унии, где редакция.

Я сидел на лавке, совершенно беспомощный. Может, еще более беспомощный, чем когда-то – когда в той же самой Варшаве вошел в тоску слякотного майского вечера, делая первые шаги в темном, загадочном пространстве. Конечно, теперь я совершенно не помню, о чем думалось тогда, в полдень пятого сентября, долго-долго по пути от угла Крулевской и Краковского предместья до медной двери (она и сегодня та же) моей редакции на Маршалковской, 3. Скорее всего, думалось о чем-то насущном, например, что взять с собой во Львов. Дома

³⁶ Прага – район Варшавы на восточном берегу Вислы.

не ахти с деньгами, нужно им что-нибудь оставить, слава Богу, что вырвусь из этого хаоса в редакции. Господи, кажется, на железной дороге страшная неразбериха, собачья будет езда.

Но помню сознание: круг замкнулся. Замкнулся, моего хранителя времени я больше не увижу. Варшавское время остановилось. Я еду во Львов. Сотни раз я уезжал из Варшавы, но этот раз – последний. Это не то путешествие, когда показываешь билетеру годовой проездной с твоим именем, выбираешь место поудобнее в купе первого класса, едешь туда-то и туда-то, затем-то и затем-то, и так же в купе первого класса возвращаешься в Варшаву, в редакцию, и прежде всего – домой, к семье, к своим тапочкам, к своей ложке, к своим книгам, к своему месту под солнцем. Временное местонахождение министерства – Львов? Это какой-то абсурд. Ведь неизвестно, что будет с войной, так почему же Львов? Правительство тут, министерство там? Министерство информации? Какой информации? В чем тут дело? Кого информировать? О чем?

Сознание, тогда еще смутное, но вскоре подтвердившееся окончательно и бесповоротно: круг замкнулся. С этим полусознанием, размышляя, скорее всего, о том, что нужно заскочить домой, взять необходимое, а потом уже в редакции ждать сигнала к отправлению на вокзал (наверное, мы соберемся вместе, Ясь Велёвейский, Боровы, Чижевский, вместе пойдем, так будет удобнее); размышляя, скорее всего, об этих делах, я смотрел сквозь стекло едва ползущего «восемнадцатого». Наверняка где-нибудь в подполусознании я отмечал то, мимо чего проезжаю:

Книжный магазин «Игнис», Краковское, семь. У этой витрины я когда-то разговаривал с подвыпившим Лехонем³⁷. Его, длинного, худого, стеклянно и недвижно всматривавшегося из-за очков в мой нос, досадно качало. Этот разговор, а точнее, полуразговор – я говорил толково, а он нес околесицу – бросил в моих глазах тень на всю его поэзию (и тень эта осталась до сих пор).

Университет. Целая эпоха, сколько раз и со сколькими я заходил в эти ворота, выходил из них. О воротах – в другой раз. Два самых важных факта про них: первый мой шаг в польской литературе, первая награда за первую написанную по-польски ерундовую новеллочку на конкурс Кружка полонистов. Второе: здесь я познакомился с Константы Ильдефонсом Галчинским³⁸. . . . Здесь ставила свои первые шаги наша дружба, которая в день его смерти была уже очень взрослой, ей было больше тридцати лет.

Дворец Сташица³⁹. Первая квартира (одна огромная комната) моего дяди, профессора математики Антония Пшеборского, где он поселился после переезда из Харькова. В этой комнате как-то утром, когда я на минутку забежал к тетке Пшеборской, вдруг что-то дрогнуло в воздухе и бухнуло в подвале. В ту же секунду посыпались все стекла в окнах (окна были большие, штуки три или четыре). Тетка пережила шок. Это был взрыв в Цитадели. 1928 год⁴⁰.

Кафе «Кресы» на углу Варецкой. Большой зал, за ним поменьше, летом столики в палисаднике с калиткой на Варецкую, от которого сегодня осталось одно развесистое дерево. Целая эпоха, но о ней будет отдельно. «Кресы» – наше «квадриговское»⁴¹ продолжение университета.

³⁷ Ян Лехонь (настоящее имя: Лех Юзеф Серафинович, 1899–1956) – польский поэт, прозаик, литературный и театральный критик, один из основателей поэтической группы «Скамандр».

³⁸ Константы Ильдефонс Галчинский (1905–1953) – польский поэт, переводчик и драматург. Один из крупнейших национальных лириков XX в.

³⁹ Станислав Сташиц (1755–1826) – польский государственный и общественный деятель, идеолог Просвещения, публицист, философ, ученый, писатель, меценат.

⁴⁰ Цитадель – крепость в Варшаве, построенная в центре города по приказу царя Николая I после польского восстания 1830 г. Ранним утром 13 октября 1923 г. боевики военного отдела Коммунистической рабочей партии Польши взорвали склад с оружием, находившийся в крепости, в результате чего погибло несколько десятков человек.

⁴¹ «Квадрига» («Kwadryga») – варшавская литературная группа, существовавшая с 1927 по 1931 г. и относящаяся ко второму авангарду. Члены группы объединились вокруг одноименного журнала; для их творчества характерно было критическое отношение к идее искусства для искусства, творчеству поэтов группы «Скамандр» (особенно Ю.Тувима), и, наоборот, приятие

Если бы это прекрасное, еще живое дерево умело говорить и записало бы на магнитофонную ленту свои воспоминания тех лет – 1924, 1925, 1926... Если бы! «Кресы» были последней страницей истории польской литературно-художественной богемы. «Малая Земянская»⁴² и Институт пропаганды искусства⁴³ по сравнению с ними – это уже не богема, а ее глухой отголосок. По пути от Свентокшиской до Иерусалимских тут и там сказочные домики, бары и кафешки, какие сейчас никому и не снились. Во всех этих «Кокосах», «Асториях» и «Марсах» гость был поистину гостем, еда настоящей едой, водка не дешевой «водярой», а водкой. Один из памятных вечеров в «Кокосе»: водка с Каролем Шимановским⁴⁴ и Збышеком Униловским⁴⁵. А потом мы со Збышеком провожали Шимановского до дома, в котором он жил, рядом с угловым на Варецкой. Мы долго стояли в подворотне и беседовали, а потом поворачивали обратно в «Кокос» на рюмочку, выпивавшуюся стоя у буфета. Снова провожали Шимановского, стояли в подворотне и возвращались в «Кокос», потому что разговор никак не кончался. Мы выпивали по рюмашке, провожали Шимановского... Ко всему, что я к нему питал, добавилось еще что-то очень личное: он так же, как я, прихрамывал на левую ногу. Первая встреча с Тувимом⁴⁶: он вошел в «Кресы» по обыкновению стремительно, осмотрелся, присел к нашему столику (состав за столиком мог быть, например, такой: Станислав Рышард Добровольский, Святополк Карпинский, Люциан Шенвальд, Людомир Роговский, Александр Малишевский, Константы Ильдефонс Галчинский, Владзимеж Слободник). Глаза у него, как всегда, сильно блестели, но может, в этот раз сильнее: он только что кончил читать «Победу» Конрада (в ту пору книжную новинку). Прекрасная, прекрасная книга. Глаза его горели... Прекрасная, прекрасная вещь. Сколько ни возвращаюсь в своей памяти к Тувиму – всегда эти горящие глаза. Первое впечатление – горящие глаза.

Кондитерская Бликле⁴⁷ (сегодня на том же месте, но совсем, совсем не та).

Аптека Малиновского на углу Хмельной. У этой аптеки подруга моей жены, шедшая с ней рука об руку, растянулась во весь рост, нечаянно споткнувшись об уланскую саблю, которую волочил за собой полковник Венява-Длугошовский. Вышел большой конфуз, много смеха и галантные извинения. Пожалуй, никогда еще бедняжке не салютовал такой эlegantный полковник.

Кино, кино, кино, Джанет Гейнор, Грета Гарбо, «Броненосец “Потемкин”», «Потомок Чингизхана», Яннингс, Чаплин, непревзойденный Чаплин.

Кафе «Италия»: тут Збышек Униловский вытащил из кармана несколько исписанных каракулями листов. Не послушаю ли я, стоит это чего-нибудь или нет. Стоили, еще как стояли того эти первые пробы львиных когтей. Я был, кажется, первым слушателем первой писанины Униловского.

поэзии Ц.К. Норвида и С. Бжозовского. Квадриговцы не разработали собственной поэтической модели, однако их объединяет эклектизм, обращение к теме социального неравенства, пацифизм, бунт, отход от личного в пользу социальной проблематики.

⁴² «Малая Земянская» («Mała Ziemiańska») – знаменитое варшавское кафе межвоенного периода, располагавшееся в неоренессансном здании по адресу ул. Мазовецкая, 12; одно из мест встречи варшавской интеллигенции того времени: поэтов, литераторов, артистов, художников, а также профессоров находящегося неподалеку Варшавского университета.

⁴³ Институт пропаганды искусства (*Institut Propagandy Sztuki, IPS*) – организация, созданная в 1930 г. по инициативе художников и историков искусства с целью распространения современного польского искусства и в противовес консервативному Обществу поддержки изобразительных искусств (*Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych*). Институт располагался на ул. Крулевской, 13. В одном из залов находилось кафе, которое стало одним из наиболее излюбленных мест встречи варшавских художников и поэтов.

⁴⁴ Кароль Шимановский (1882–1937) – польский композитор, пианист, педагог, музыкальный критик. Одна из наиболее заметных фигур польской музыкальной культуры первой половины XX века.

⁴⁵ Збигнев Униловский (1909–1937) – польский прозаик, автор рассказов, гротескных миниатюр и повестей.

⁴⁶ Юлиан Тувим (1894–1953) – знаменитый польский поэт и прозаик, один из основателей поэтической группы «Скамандр».

⁴⁷ Кондитерская А. Бликле – самая старая в Польше, основана в Варшаве в 1869 г.

Подворотня перед «Удзяловой», здесь вход в квартиру Жицких на втором этаже. Жицкий – владелец «Удзяловой», а один из его сыновей – наш университетский приятель. В квартире у Жицких сенакли⁴⁸, как говаривал Константы, малость водки, больше вина, очень много поэзии. В сенаклях, например, Ежи Либерт, Владислав Себыла, Леонард Подхорски-Околув.

«Удзялова» – целая эпоха, еще до «Кресов». Мы, щенки, заглядывались на соседние столики, а там мэтры: Стефан Жеромский⁴⁹, Антоний Ланге⁵⁰, Эдвард Слонский⁵¹, Влодзимеж Пежинский⁵². Мы подслушивали, что они говорят. Как-то утром я пришел в «Удзяловую», с кем-то договорившись о встрече. Сел в полупустом зале, за соседним столиком сидел Жеромский, один. Я боролся с искушением: подойти, что-нибудь сказать, что-нибудь услышать. Не подошел, не сказал. Жеромский хмуро глядел на меня в упор, и я чувствовал, что почему-то ему не нравлюсь. Возможно, потому, что я тогда носил длинные волосы а-ля русский поп и бороду лопатой. Может, он думал, что я – молодой поп или дьякон. Мы довольно долго молча рассматривали друг друга. Потом кто-то подошел к его столику, к моему, рассматривание закончилось, но я до сих пор помню это его хмурое, неблагоприятное наблюдение моей особы.

В «Новик», как тогда говорили про Новый Свят, в эти кафешки и киношки, к этим встречам и расставаниям на всегда шумной (а самой шумной, праздничной и развеселой к полуночи) пешеходной улице я еще не раз вернусь в своей памяти. Здесь в воскресенье третьего сентября около полудня перед зданием, в котором теперь размещается ЗАГС, я, стиснутый взволнованной толпой, салютовал в честь Англии. Посол или кто-то из посольства махал толпе рукой, а та воодушевленно скандировала: «Да здравствует Англия!», ибо только что разошлась весть об объявлении Великобританией войны Германии.

Вернусь не раз. «Восемнадцатый» поворачивал в Иерусалимские неподалеку от «Удзяловой». Мне тогда и в голову не могло прийти, что «Удзялова» вскоре станет «Nur für Deutsche»⁵³ или что через пять лет я буду стоять с Малишевским на углу Братской и Иерусалимских, а он покажет мне рукой, что в этом месте через мостовую раньше вел прокоп, страшная траншея, рана поперек улицы, а он полз на ту сторону под огнем, в дыму, вдоль баррикад, обстреливаемых с Маршалковской. В какой-то момент он зацепился шнурками ботинка о проволоку или что-то вроде, и в это мгновение смерть раздумывала: взять его или нет?

На углу Братской и Иерусалимских ресторан «Кристалл». Я проходил мимо, когда из дверей вышел ведомый кем-то под руку Казимеж Пшерва-Тетмайер⁵⁴. Страшный, пергаментный, заросший, дикий. Я приостановился, он взглянул на меня (хотя я был ему незнаком, ну разве что визуально по «Кресам», куда он захаживал за пирожным: съедал его у буфета и без единого слова выходил, не заплатив. Все это с молчаливого согласия варшавских кондитеров, рестораников и хозяина «Кресов», пана Сончевского), взглянул на меня безумными глазами и хрипло, громко крикнул: «А ты что здесь делаешь?» Я ничего не делал, случайно проходил.

⁴⁸ Сенакль (*фр.* «Senacle», название кружка французских романтиков, куда входили Гюго, Нодье, Гюттенгер и др.) – обычно шутивное или ироническое обозначение литературного кружка.

⁴⁹ Стефан Жеромский (1864–1925) – польский писатель, драматург, публицист, продолжатель традиций польского критического реализма.

⁵⁰ Антоний Ланге (1862–1929) – польский поэт, переводчик, философ-мистик, полиглот, литературный критик, драматург и публицист еврейского происхождения. Ланге причисляют к первому поколению поэтов Молодой Польши.

⁵¹ Эдвард Слонский (1872–1926) – польский поэт и прозаик. В своем творчестве обращался к романтизму, призывал к революционным общественным преобразованиям.

⁵² Влодзимеж Пежинский (1877–1930) – польский драматург, поэт, автор повестей, новеллист периода Молодой Польши.

⁵³ «Только для немцев» (*нем.*) – надпись, размещавшаяся в местах публичного посещения во времена Второй мировой войны в Третьем рейхе и в оккупированных им странах. Надпись обозначала, что данные места предназначены только для лиц немецкого происхождения.

⁵⁴ Казимеж Пшерва-Тетмайер (1865–1940) – польский поэт, прозаик, драматург. Потеря зрения и тяжелое психическое заболевание прервали литературную и общественную деятельность Тетмайера. В 1940 г. он был выдворен немцами из отеля «Европейский», в котором постоянно проживал, а затем скончался в больнице.

Я пожал плечами и пошел дальше. А он кричал что-то еще, не знаю, что. Было это вскоре после похорон его сына, он тогда окончательно помешался.

Дальше, ближе к Маршалковской, винный погреб и дегустаторская вин Триппенбаха. Однажды прекрасным варшавским июльским днем я получил в кассе Гебетнера и Вольфа⁵⁵ пять тысяч злотых (а это был новый «злотый Грабского»⁵⁶ после валютной реформы: килограмм сахара стоил, кажется, восемьдесят грошей, пара хорошей обуви двенадцать злотых, яйца у крестьянок из-под Варшавы по пять грошей, за недурной обед в столовой можно было заплатить шестьдесят грошей). Вино у Триппенбаха подавалось на широкие некрашенные столы в оловянных кувшинах. Сиживали шумной компанией на табуретах за широкими столами. Сиживала «Квадрига», сиживали друзья «Квадриги», сиживали друзья друзей «Квадриги». Жбан опорожнялся за жбаном, пелись песни, раздавались восклицания: «Да здравствует любовь капитана Паара!», ибо так называлась новелла, за которую я получил в кассе на улице Згода это ужасающее, невероятное состояние. А Юлиуш Каден-Бандровский, который занял третье, бесплатное место среди избранных авторов, узнав о моих пяти тысячах, загадочно сказал: «Что ж, из Кореи взят, в Корею и обратится»⁵⁷. А Антоний Слонимский (на седьмом месте) тоже, говорят, нелестно обо мне выражался. Ирена Кшивицкая, которая была на восьмом месте, злопамятно насолила мне в печати: через добрых шесть или семь лет она писала для «Литературных ведомостей» рецензию на «Общую комнату»⁵⁸ Униловского и упомянула, что среди жителей той комнаты был и «один свихнутый писака с бородкой». Этот свихнутый писака – я! Жаль, что Холубек⁵⁹, изображая Дедусю в послевоенной экранизации «Общей комнаты», очевидно, не знал этой рецензии. Может, он бы свихнул меня на экране? Лишь только Рафал Мальчевский (на пятом месте), который постоянно проживал где-то в горах, а в то время кружил по Варшаве, при встрече спонтанно поздравил меня с успехом и попросил одолжить ему сто восемнадцать злотых, ибо именно столько ему было нужно, чтобы вернуться домой. У меня не было при себе ста восемнадцати, я дал ему сто двадцать. Вечером он нашел меня в «Кресах», вернул два злотых, и на этом наши финансовые связи навсегда прекратились. Дружеские остались. Насколько я помню, он также подключался к жбанам у Триппенбаха.

Там, где Аллеи сворачивали в Маршалковскую, над Окенче клубилась, взбиваясь в небо, ржавая туча. Потом мы узнали, что это горели разбомбленные полчаса назад ангары. Мы смотрели на это грозное зрелище, в вагоне было тихо, как вдруг кто-то сказал: «Это на Воле». Все смотрели на него настороженно и подозрительно: откуда ему известно, что на Воле? Уж не шпион ли? Варшаву, да пожалуй и всю Польшу, охватила шпиономания. Всяк чуял в ближнем врага, враг таился на каждом шагу, отовсюду выползал страх. «Восемнадцатый» подъезжал к площади Унии, остановился у самого входа в «Дом прессы», я выскочил и побежал к двери, когда вновь застонали сирены воздушной тревоги. Портъе, Генек Похль, остроглазый, всеведущий доверенный, встретил меня в вестибюле вопросом: «Ну, что там было на конференции, пан редактор?» Я ответил: «Да ничего, ничего» и побежал к лифту, поскольку увидел, что в него входит Хергель. Не придется подниматься на третий этаж по лестнице. Машинист-тех-

⁵⁵ Издательство «Гебетнер и Вольф» – крупнейшее польское довоенное книгоиздательское предприятие. После войны было национализировано и прекратило свою издательскую деятельность, а к 1957 г. и книжную торговлю.

⁵⁶ Валютная реформа Вл. Грабского – введенная 1 апреля 1924 г. в Польше монетная реформа, нацеленная на борьбу с гиперинфляцией. В итоге реформы польские марки были заменены на новую валюту – злотые, опирающуюся на золотой паритет (1 злотый равнялся стоимости 0,2903 грамма золота). Один злотый делится на 100 грошей.

⁵⁷ С. М. Салинский детство и юность провел на корейско-манчжурско-российском пограничье.

⁵⁸ «Общая комната» («Wspólny pokój») – дебютантская повесть Збигнева Униловского, написанная в 1932 г. Под вымышленными фамилиями представлены реальные лица. Действие повести происходит на рубеже 20–30-х гг. в среде варшавской богемы, в частности, связанной с литературной группой «Квадрига».

⁵⁹ Густав Холубек (1923–2008) – польский актер и театральный деятель, депутат Сейма, сенатор, педагог.

ник Хергель, немец, был механиком, ответственным за консервирование ротационных машин, недавно купленных «Домом прессы» в Германии. Это были дорогие современные машины (кажется, они до сих пор работают в типографии на Маршалковской, 3). Фирма приставила к ним собственного механика, этого вот Хергеля. Он плохо говорил по-польски, но иногда создавалось впечатление, что он специально коверкал наш язык – во всяком случае, отлично его понимал. Хергель был в здании вездесущ днем и ночью. Владения его, ротационные машины, находились на первом этаже, но повстречать его можно было всюду. В неказистом рабочем комбинезоне он крутился и в цинкографии, и в коридорах редакции, подсаживался к столикам в буфете, кружил по наборному цеху, болтал с типографами. Хергель тут, Хергель там, любезнейше-обходительный. Хороший специалист, хороший немец. В лифте он спросил: «Как пыло на конференции, пан ретактор?» Я ответил, кажется, то же: «Да ничего, ничего». И вышел на третьем этаже у кабинета Буткевича.

Генек Похль, хранитель множества ключей и секретов «Дома прессы», после вступления немцев немедленно объявил себя фольксдойче⁶⁰. Он отдавал немцам, производившим реквизицию здания, все ключи и секреты, вместе с ними потрошил наши редакционные столы, перепахивал архивы. А добрый немец Хергель, первоклассный гитлеровский прислужник, вышел в нацистском кителе поприветствовать соотечественников в Варшаве и сразу же был назначен тройхандером⁶¹ всех варшавских типографий. Он знал наперечет все фамилии, все типографские дела. Кто с ним встречался во время оккупации, говорили, что когда требовалось, он прекрасно владел польским языком.

Мы все собрались в кабинете Буткевича тем же составом, что в Президиуме совета министров. Он уже получил по телефону инструкции из Президиума: поезд Министерства информации отходит во Львов с Восточного вокзала в двадцать три часа. Он сам, Вацлав Сыручек и Станислав Капусцинский (главред «Курьера червонного») также едут, но на машине через Люблин. Встречаемся завтра в Люблине, не исключено, что некоторые останутся пока в Люблине, возможно, будем там выпускать специальную локальную разновидность «Курьера червонного».

Директор Левандовский посоветовал обратиться в кассу. Все уезжающие получили трехмесячную выплату. Кадровик делал пометки в трудовых книжках. В моей, сохранившейся до сих пор, стоит: «Уволен по причине обстоятельств непреодолимой силы 5 сентября 1939 года». И печать: «Дом прессы».

Мы все договорились встретиться в девять вечера в помещении редакции, оттуда вместе двинемся на Восточный вокзал. Два часа, времени достаточно. Когда без четверти девять я заглянул в редакцию, из будущих своих спутников застал там только Вацлава Борового. Другие или уже были в редакции и поехали на вокзал, или вообще поедут прямо из дома. Мы подождали еще немного, никто больше не появился. Атмосфера становилась все напряженнее. По редакции металась наша буфетчица с пятого этажа, обыкновенно приветливая и отзывчивая, теперь же крайне озабоченная. Почти каждый из нас был ее должником, так как она легко и охотно продавала в кредит, записывая сумму в тетрадке. Теперь она ко всем приставала, прося вернуть хотя бы часть долга. Богуслав Калясевиц был чуть живой, уши у него опухли от наушников: уже пять дней он практически непрерывно дежурил у радиопрослушки. В обыкновенно упорядоченных и аккуратных редакциях теперь царила неразбериха. Буткевич, как всегда своим бархатным баритоном, поправляя на глазу монокль и выговаривая букву «а»

⁶⁰ *Volksdeutsche* (нем.) – до 1945 года обозначение «этнических германцев», которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии.

⁶¹ *Threuhänder* (нем.) – доверенное лицо. Во время Второй мировой войны на оккупированных Германией территориях управляющий отдельными реквизированными предприятиями или имуществом ликвидированных организаций и обществ. В Польше в 1940 г. было около 1,2 тыс. «тройхандеров» – в основном, это были немцы, проживавшие в Польше еще до войны или переселившиеся из прибалтийских стран.

ближе к «э», безапелляционно доказывал, что теперь наше положение улучшится, раз функция надлежащего информирования общества через прессу и радио перейдет к министерству. Необходимость такового уже давно назрела. Мы недооценивали, например, пропагандистскую и информационную деятельность доктора Геббельса в Германской империи. Даже у врагов нужно учиться. «Дэ, господа...»

Мы с Боровым вышли на улицу. Я в последний раз пересек порог здания, в котором отбарабанил девять лет жизни (вновь пересек я его лишь через пятнадцать лет, в связи с одним дельцем к Стасю Роттерту, секретарю «Жиче Варшавы»). Мы вошли в темноту, ни проблеска, ни лучика света. Горели лишь неверные сизые огоньки затемненных фонарей в подворотнях. Редкие, опустевшие трамваи, тоже с затемненными стеклами. О такси, о дрожках думать нечего. Пришлось идти на вокзал пешком.

Вскоре показалась луна, огромная и прекрасная, и осветила площадь Спасителя⁶². Как у Галчинского: «А ночь и луна – это лунная ночь»⁶³. Мы шли и шли сквозь эту ночь, по лунным улицам, меж притаившихся домов, в которых были тысячи и тысячи людей, а сами дома – слепые и омертвелые. С угла Аллей видна была пустынная перспектива Нового Свята, в лунной магме проступали человеческие фигуры, непохожие на человеческие. Луна поднималась по небу за Вислой, над городом ползла украдкой тишина. Какое облегчение, что по ночам пока не было налетов и этих сирен.

Несколько минут мы с Вацеком отдыхали, опершись о перила моста Понятовского. Под огромной луной – темная притаившаяся Висла. Я долго не увижу ее, до конца декабря, да и то как снежную насыпь. В декабре того года ударили сильные морозы.

Около одиннадцати вечера мы с Боровым добрались до Восточного вокзала – прямиком в кошмарный хаос. Первое зловонное дыхание войны: переход под перронами забит человеческой массой, какими-то беженцами откуда-то, солдатами, узелками, детьми, скарбом. Все вповалку, сбитое в одну человеческую глыбу. Детский плач, вопли, темнота и неразбериха. Неразбериха на перронах, и здесь плотная масса людей, чемоданов, сундуков, детей. Абсолютная невозможность получить информацию у кого бы то ни было, где стоит этот поезд министра информации, где и какие поезда до Львова? Единственное освещение перронов – лунное. «А ночь и луна – это лунная ночь»...

Мы с Боровым кролем продирались через эту неразбериху. Вскоре начали встречаться знакомые лица: Зингер из «Нашего Пшеглёнда», Вандель из «Утреннего», несколько из «Последних ведомостей», наш Казек Грыжевский, Намиткевич. Еще кое-кто. Мы определили местом сбора один из газетных киосков на перроне. Кто-то из нас пошел к поезвному диспетчеру, вернулся с известием, что диспетчер сам абсолютно ничего не знает, но да, поезд Министерства информации есть. Должен отправиться во Львов в ноль часов, но с Гданьского вокзала. Не с Восточного, а с Гданьского, это наверняка! Некоторые журналисты здесь уже были и давно поехали на Гданьский...

Нельзя было терять времени. Мы двинулись (нас накопилось уже несколько человек из «Дома прессы») на Гданьский вокзал, полушагом, полубегом: скоро двенадцать. В нас еще теплилась вера в пунктуальность поездов, в скрупулезность часов. Полушагом, полубегом, полубегом. Короткий перекур и – полубегом, полубегом, полубегом. Можно было бы повернуть домой, на Одолянскую. Кое-кто из нас слишком поздно сообразил, что надо было плюнуть на весь этот Львов и все это министерство и повернуть домой. Скоро пойдут дневные трамваи, с восточной стороны небо начинает сереть. На трамвае домой.

⁶² Площадь Спасителя (*Plac Zbawiciela*) – круглая площадь в южной части центра города, расположенная на оси ул. Маршалковской.

⁶³ Строка из стихотворения Константы Ильдефонса Галчинского «Описание дома поэта». В переводе А. Домашева: «Когда луна и ночь, то ночь – полна покоя».

На той вращающейся пластинке, под присмотром хранителя моего времени, я совершил в Варшаве только два таких похода в никуда. Долгих пеших прогулок было много. Многочасовые блуждания по сонным улицам с Галчинским. Километровые прогулки в парки, из парка в парк, из парка в парк, под руку с... Ах, стоит ли силиться вспомнить, ведь из памяти вылетело не одно имя. Долгие хождения с Умедой⁶⁴ далеко за Служевец⁶⁵, где он тогда жил в причудливом архитектурном памятнике за виллой Круликарня, уже недалеко от Вилянуба⁶⁶. Константы назвал это строение «Yellow Inn» – «Желтый двор». В башню к Умеде можно было попасть, только взобравшись по малярской приставной лестнице. Походы к Умеде, от Умеды, с Умедой. Долгие блуждания по улицам со Стефаном Флюковским, с Рышардом Добровольским, провожания Хальшки Бучинской⁶⁷ от Пулавской до самой ее квартиры на Банковской площади. Прогулки в одиночестве. Однажды мы с Тадзем Зайончковским дошли аж до Вилянуба, ну мы и натопались! Коллективные шествия далеко на окраины Воли, где у нашего приятеля из интендантской службы были припасены для друзей ящики вина. Не бутылки, а ящики. Вылазки с Эдвардом Бойем⁶⁸ далеко-далеко на Непоренцкую улицу на Праге.

Можно долго перечислять эти прогулки и походы, долго считать эти длинные, длинные километры. Но лишь два путешествия были в никуда. У всех остальных был конечный пункт: дом. Был ли это дом моей матери, или после ее смерти комнаты (правда, с поднаймом, но собственные), или потом – свой дом. Только два одиноких похода в никуда.

Второй в никуда это как раз тот поход от площади Унии на Восточный вокзал и с Восточного на Гданьский, где, действительно, стояли два пульмановских вагона для журналистов и третий – закрытый, с зашторенными окнами, молчаливый и загадочный. Ясно, что для министра информации. Никто не знал, когда все это должно отправиться во Львов, в никуда. Что в никуда, выяснилось уже на следующий день: прицепленные к поезду вагоны наконец тронулись, чтобы в первый раз застрять в Отвоцке, где оказалось, что дальше налаживают пути, только что сорванные немецкими бомбами. Что в никуда – я это понимал, усаживаясь на сиденье в вагоне министерского поезда. Вагоны были уже заполнены, опаздывающие еще подтягивались по одному. Стало совсем светло. В общей сложности был полный состав с конференции у министра информации.

А первый поход в никуда – из Городка за Повонзками⁶⁹ к гостинице «Роял», первый мой ночной поход по Варшаве, долгий, долгий, по трамвайным путям, по трассе «первого», идущего от кладбищенских ворот на Повонзках по улицам еврейского квартала, Медовой, Краковскому предместью и Новому Святу. Я был уже в курсе, что «первый» останавливается на углу Хмельной и Нового Свята и что отсюда я дойду до моих клопов в «Рояле». Но «Роял» не был домом, он был ничем, всего-навсего ночлегом. Путь нога за ногу через лунную майскую Варшаву вел в никуда, только на ночлег.

Когда я вышел из Городка в направлении моего ночлега, у меня сильно шумело в голове от спирта, выпитого с бывшими солдатами шайки Балаховича⁷⁰. Но уже возле кладбища я про-

⁶⁴ Станислав Умеда (яп. *Umeda Ryōchū*, при крещении принял имя Станислав, 1899–1961) – японский историк, первый преподаватель японского языка в Варшавском университете, переводчик и популяризатор японской культуры в Польше и польской в Японии.

⁶⁵ Служевец – в настоящее время район Варшавы на Мокотуве, до 1938 г. – деревня, прилегавшая к городу.

⁶⁶ Вилянуб – район Варшавы на левом берегу Вислы, на юге города, граничащий с Мокотувом и другими районами. До 1951 г. был самостоятельной административной единицей (гминой), затем присоединен к территории столицы.

⁶⁷ Стефан Флюковский, Рышард Добровольский, Хальшка Бучинская – польские литераторы, члены «Квадриги».

⁶⁸ Эдвард Бой (1897–1943) – польский переводчик с итальянского и испанского языков, редактор студенческого журнала Варшавского университета «Pro Arte et Studio».

⁶⁹ Повонзки – территория на северо-западе Варшавы, входящая в районы Воля и Жолибож (деревня Повонзки включена в состав города в 1916 г.). В зоне современных Повонзек находится несколько кладбищ, в том числе Старые Повонзки, где покоятся заслуженные деятели культуры, публицисты и политики.

⁷⁰ Станислав Никодимович Булак-Балахович – военный и политический деятель эпохи Гражданской войны в России,

трезвел и почувствовал густой запах из-за стены – той самой, что в Городке, сирени. *Японская сирень*⁷¹. Нет, за ней не шумел океан. Мой Владивосток был на луне, мой океан, мой дом. Стрелка на часах настоящего времени недвижно застыла на букве «N», первой букве слова, обозначающего глубокую человеческую удроченность.

Итак, я опустил в ящик ложь о Варшаве, с чувством полной бессмысленности происходящего. Там, куда я писал (какими путями и дорогами будет идти эта карточка с памятником Мицкевичу – до Марселя, а оттуда пакетботом до Японии, а из Японии как-нибудь во Владивосток? Или через Лондон и Америку, два океана, Атлантический и Тихий? Через сколько рук она пройдет, пока не попадет к отцу?)... там, куда я адресовал эту карточку, теперь ночь. Родители поужинали и готовятся ко сну. Над Золотым Рогом горят майские звезды. А тут полдень, Варецкая площадь. Какая-то Варецкая площадь... Что значит: «Варецкая»⁷²?

Еще в Триесте я получил в консульстве не слишком точные сведения, что в Варшаве есть сборный или информационный пункт для приезжих и эмигрантов с Востока. Через два порта, Триест и Марсель, тянулись тысячи европейских репатриантов, возвращались части бывших российских военнопленных из Сибири, возвращались гражданские из эмиграции. Единственная дорога назад вела через Владивосток и японские порты, вокруг Азии, на Средиземное море. Триест был европейским этапным пунктом для поляков. Кроме бывших пленных, солдат Пятой сибирской дивизии⁷³, возвращались тысячи поляков, разбросанных эвакуацией из *Привислинского края* в 1915 году по необозримым просторам Империи, от Москвы до Тихого океана. Возвращались поляки, много лет назад осевшие на Дальнем Востоке, бывшие русские чиновники, инженеры, врачи, промышленники. Значительную часть интеллигенции и людей свободных профессий во Владивостоке составляли поляки. Теперь они разрывали давнишние узы с тем краем, возвращались в независимую Польшу, жить здесь, работать, стареть, учиться. Завершалась одна из глав в истории большой польской диаспоры.

Сборный или информационный пункт в Варшаве назывался Городок. Название это я услышал в триестском консульстве. Периферийный район Варшавы, кто-то в консульстве даже знал, что, кажется, рядом с Повонзками.

Я опустил карточку на луну. Справился у прохожих, какими дорогами, на каком трамвае на эти самые Повонзки. На «первом» до кладбища, а дальше пешком. Недалеко, там покажут. Городок, бараки для беженцев или чего-то в этом роде.

Хорошо было ехать на трамвае по еврейскому кварталу: далекое многоголосое эхо за шанхайскими Воротами Монтобан, что-то от китайских кварталов Гонконга и от суков⁷⁴ Александрии, человеческое скопище, шум и гам, беготня и пыль, будто огромный котел, в котором бурлят и переливаются люди и вещи. Что-то знакомое, владивостокское: так выглядели окрестности Семеновского базара. Но там – китайцы. Кое-что из китайской трескотни я понимал. Тут – ничего.

Я сошел у ворот кладбища. Долго, долго вдоль кладбищенской кирпичной стены, дальше по указаниям, Татарская улица. Магометанское кладбище. Татарская – хорошее название, более близкое сердцу, чем какая-то там Маршалковская или Крулевская. Татарская – это нечто из моего тысячекилометрового края тайги, тундры и песчаных пустынь. Потом, за железнодо-

генерал российской Белой армии и Войска Польского.

⁷¹ Курсивом помечены фрагменты, данные автором на русском языке.

⁷² В настоящее время: площадь Варшавских повстанцев. Расположена в центральной части Варшавы. Площадь была спроектирована в 1823 г. и изначально называлась площадью Иисуса, а в 1870 г. была переименована на Варецкую площадь, т.к. располагалась на земле Йозефа Пулаского, старосты города Варка. В 1957 г. площади было присвоено современное название.

⁷³ Пятая польская дивизия – национальное соединение в составе Русской армии адмирала А. В. Колчака. Сформирована в Сибири в мае 1919 г. в основном из польских военнопленных, воевавших в Первой мировой в рядах германских и австро-венгерских войск. Численность дивизии составляла более 11 тыс. человек.

⁷⁴ Сук (из арамейск. *šūqā* – улица, магазин) – восточный рынок.

рожным переездом, далекие, синеющие лесами горизонты, не крутой вихрь улиц и переулков, а более приятное для легких дуновение дальней дали. Потом этот городок: район-не район, квартал-не квартал, скопище бараков, ветхих одноэтажных домишек, некоторые типично дачного вида, с крылечками, с балясинками, окошки с геранями и фуксиями. Любопытные, пугливые взгляды из-за занавески. Зелень и сирень, много, много сирени. Знакомый запах: так пронзительно и сильно пах издали весь сквер Невельского на крутом откосе, спускавшемся к изумрудам и сапфирам Золотого Рога, поросшем густыми шпалерами сирени, которые называли японскими. *Японская сирень* – изюминка сквера Невельского. Оле, Зине или Марусе говорили: «Пройдемся на японскую сирень». Приглашали не на прогулку в парке, а на японскую сирень.

Сиренью цвела в мае и вся Первая Речка, северные окраины Владивостока. В бараках и «дачах» Городка было что-то от бараков и дач Первой Речки. Но там прямо за стеной сирени начинался Тихий океан. Но сирень в Городке пахла по-японски и можно было нарочно обманываться, что за ней, как и там – океан. Солнце клонится к западу, сейчас зашумит вечерний прилив, из-за сирени пахнёт йодом и водорослями.

И – о чудо! – уже давно мною не слышанный русский язык. Какой-то Ваня в потертой военной шинели со следами офицерских отличий зазывал через всю улицу между «дачами» какого-то другого Ваню. Я тут же подступил к первому Ване и спросил (естественно, по-русски), где тут пункт информации, адресное бюро или что-нибудь в этом роде. Мне надо было уловить нить фамилий друзей и знакомых, которые прежде меня выехали из Владивостока в Польшу.

Незнакомый Ваня, при ближайшем рассмотрении человек благородных манер, не знал, есть ли в Городке пункт информации или адресное бюро. Пожалуй, нет, адресное бюро находится в городе, в Ратуше на Театральной площади. А потом мне: «А вы откуда?»

Я сказал, что из Владивостока. Поляк? Поляк, но из Владивостока. *Там моя родина.* (Родиной моей все еще был далекий край на луне). Он просиял и сразу расположил меня к себе похвалой моего далекого края. Владивосток? О, знает, знает. «*Красивый город, красивый...*» Теперь он пару слов о себе: знает Владивосток, служил во владивостокском гарнизоне, в 1915 пошел на фронт, воевал, а теперь тут.

Через четверть часа я сидел в кругу таких же, как мой новый знакомец. На столе стояла бутылка водки с малиновым сиропом. Здесь, в одной из бедных, неопрятных комнат этой «дачи» под японской сиренью, с нарами вместо кроватей, за деревянным неструганым столом с крестообразными ножками, закусывая прошлогодними квашеными огурцами, я выпил первую в Польше рюмку водки со вкусом малины. А через несколько часов впервые в Польше пел в голос. Стоя – нетвердо, но стоя – я распевал с ними «Боже, Царя храни». В последний раз я пел царский гимн во время новогоднего *молебна* в нашей владивостокской гимназической церкви первого января 1917 года. Батюшка под конец *молебна* загудел как из бочки: «*Во здравие Его Императорского Величества*», а хор гимназистов грянул: «*Боже, Царя храни*». Через неполных два месяца разразилась революция. Этот гимн официально хором не исполнялся во Владивостоке больше никогда, ни при Колчаке, ни при Розанове, ни при Каппеле, ни при Дитерихсе, ни во время Дальневосточной республики, ни правления братьев Меркуловых, ни при японцах. Нужно же было мне объехать пол земного шара, чтобы вновь спеть его.

Бутылок было много, приносили еще и еще. Есть повод: выпить за пришельца из Владивостока. Время от времени мы выходили проветриться на крылечко. На небе застыла огромная майская луна. В тихом майском воздухе остро пахла японская сирень. Ночь была почти как там...

Мне это было знакомо – и тут, и там они были одни и те же. Новая Россия выплескивала за свои края мутную человеческую пену в сбитой обуви, в потертых, пропитавшихся потом шинелях, людей с перебитым позвоночником, людей без завтрашнего дня. В Варшаве суще-

ствовало, среди прочих, общество поэтов российских «белых» эмигрантов. Некоторое время спустя я попал к ним по ухваченной в Городке нити. Клуб этот назывался «Таверна поэтов», собрания проходили преимущественно в номере гостиницы «Саксонская» на Козьей улице, у живописца и графика Бориса Цинзерлинга. На одном из таких собраний читал свои стихи Владимир Брандт, отставной поручник царской армии. Я запомнил из них одно четверостишие:

...В этот душный, в этот пьяный вечер
Пьем стаканы синяго огня,
За того, чей жребий не намечен,
За людей без завтрашнего дня...

Попойка за неструганым столом в затхлом, прелом бараке варшавского Городка была именно такая: стаканы из-под горчицы с синим огнем спирта и малиновым сиропом, люди без намеченной линии судьбы и завтрашнего дня, люди, потерпевшие кораблекрушение, выброшенные за пределы своего отечества, своей страны, своих семей. Во Владивостоке я встречал таких же, и бараки на Первой Речке были похожие, многоликий образ нищеты: разные бывшие царские, бывшие семеновцы, бывшие розановцы, бывшие каппелевцы. Генералы уходили, солдаты оставались. Не все переходили под знамена другого генерала; при каждом политическом перевороте в Приморье какая-то часть войска выплескивалась за борт. Бывший казацкий есаул из отрядов атамана Семенова ни за что не шел в ряды генерала Иванова-Ринова, в свою очередь риновец, когда вытурили его генерала, предпочитал мытарствоваться, грабить и опускаться на дно барачных Первой Речки, чем носить розановский мундир с трехцветными ленточками.

Через полчаса, после одного-двух стаканчиков меня словно живьем перенесло – туда. С той лишь разницей, что там все разговоры, жалобы, сетования и надежды людей без завтрашнего дня крутились вокруг полковников и генералов, свирепствовавших на отдаленных рубежах России, у Тихого океана (один раз, после разгрома правительства Колчака в Омске в 1918 году, это был его дальневосточный наместник, генерал Розанов, в другой раз бандитские белогвардейские орды полковника Каппеля, потом остатки казацких полков атамана Семенова, эвакуированные в Приморский край из северной Манчжурии, и так далее), а здесь в ходу были новые и незнакомые мне имена Бориса Савинкова, генерала Перемыкина, Булак-Балаховича. Но покровительница их все та же: призрачная, кручинная *матушка-Россия*...

Мирный договор, завершающий войну 1920 года, был уже подписан, но на польско-русском пограничье, на пустошах и болотах, еще кипела послевоенная пена, рыскали более или менее организованные формирования всяческих русских диверсантов-контрреволюционистов. Разобраться в их политическом и идейном облике было непросто, так как меж более дисциплинированных военных отрядов, которыми предводительствовали еще бывшие царские офицеры, клином вбивались одичалые банды грабителей и террористов.

Живописной и грозной фигурой в том котле выделялся Борис Савинков, личность, вне всяких сомнений, незаурядная, но наделенная исключительно заурядной внешностью. Помню, мне показывали его фотографию: невысокий, сутулый, с тупым, невыразительным лицом и бесцветными коровьими глазами, лысоватый, он походил на захудалого чиновничку или даже возного⁷⁵ из какого-нибудь провинциального русского уезда. А ведь этот человек встречался и совещался с крупнейшими политическими фигурами тогдашней Европы, Черчиллем, Ллойдом Джорджем, Эвенсоном. Был представителем адмирала Колчака в Лондоне. На равных совещался с Мильераном, с Пилсудским. На равных заключал соглашения со Врангелем и Петлюрой. Этот сорокалетний выходец из чиновничьей семьи, наделенный крайне невыразитель-

⁷⁵ Возный – должностное лицо в судах низшего уровня в Польше и Великом княжестве Литовском. Возный вручал повестки для явки в суд, а также исполнял обязанности следователя, судебного исполнителя и пристава.

ной наружностью, был одной из самых выдающихся фигур антисоветской контрреволюции. В биографии его еще и до этой главы были необыкновенные страницы: в двадцать с лишним лет он был членом боевой организации партии эсеров и принимал участие в покушении на дурной славы министра внутренних дел и шефа жандармерии Плеве. Участвовал в покушении на великого князя Сергея Александровича. Кроме того, приложил руку к серии покушений на царских сановников.

Свержение царского режима открыло новую страницу в жизни Бориса Савинкова: он сделался заядлым врагом советской власти. В 1917 году как заместитель печально известного Керенского и комиссар Народного вождя играет роль посредника между Керенским и генералом Корниловым при подготовке контрреволюционного заговора. В 1918 году становится во главе тайного общества под названием «Союз защиты Родины и Свободы», проводит крупномасштабные террористические акции, готовит покушение на Ленина, организует вооруженные выступления в Рыбинске, Муроме и Ярославле.

В польско-русской войне 1920 года Борис Савинков, естественно, выступает против Советского Союза. После заключения мирного договора он действует дальше: под его началом находится армия (как он признал в 1924 году на процессе в Москве), насчитывающая около шестидесяти тысяч человек, сгруппированная на польско-русском пограничье и руководимая им с помощью нескольких командующих. Армия эта была скорее набором разрозненных вооруженных банд, подчиняющихся своим полковникам и генералам, в конце концов пожравшим друг друга: всем этим Бабошко, Перемыкиным и двоим братьям Балаховичам, Балаховичу Первому и Балаховичу Второму. Достижения этой «армии» – между прочим, санкционированной Пилсудским, как показал уже упоминавшийся процесс Савинкова, – это поджоги и террор, чудовищное насилие над населением и кровавые расправы на оккупированных в результате польско-советской войны территориях.

Руководящий и организационный центр Савинкова размещался в Варшаве (так называемый Русский политический комитет). При нем вскоре образовался Русский эвакуационный комитет, который – также с молчаливого согласия Пилсудского – объединял различные анти-советские группировки, пребывавшие на территории страны. Довольно многочисленна была белая эмиграция, большей частью представители интеллигенции и офицеры царских элитных полков. В отношении Польши они были лояльны и корректны. Однако после 1920 года в страну хлынули разгромленные банды, остатки армии Перемыкина, а осенью этого года, после неудачного похода Балаховича на Мозырь, на польской территории укрылось около двадцати тысяч его солдат. Их интернировали в лагерь.

Деятельность Бориса Савинкова в Польше прекратилась под конец 1921 года. Советский суд потребовал выдвигать его из Польши, тем более что стало известно, что диверсионные части Савинкова, действовавшие на территории Советского Союза, снабжались ядом из Второго отделения Генерального штаба, шефом которого был майор Юзеф Бек, приближенный и любимчик Пилсудского. Письмо майора Бека на эту тему, найденное при ликвидации советскими властями одной из диверсионных банд, не оставляло никаких сомнений. Пилсудский вынужден был посчитаться с категорическим протестом советских властей: Савинков получил приказ покинуть Польшу. Помешкав, он все же выехал из Варшавы в январе 1922 года и обосновался в Праге, а затем в Париже. В Варшаве еще какое-то время действовала нелегальная ячейка Русского эвакуационного комитета. В 1924 году Савинков был приговорен к смерти, но благодаря некоторым смягчающим обстоятельствам смертную казнь заменили на десятилетнее заключение. В мае 1925 г. Савинков покончил с собой в тюремной камере. Так завершилась биография человека, как бы то ни было, незаурядного, даже отмеченного в дневниках

Черчилля в главе «Великие современники». И мелькающего на страницах истории первых лет нашей первой независимости⁷⁶.

После депортации Савинкова контрреволюционные организации в Польше отмирали в меру нормализации польско-советских отношений. Вплоть до 1939 года оставалась лишь часть интеллигенции той первой, после 1917 года, волны эмиграции. Существовал православный приход, «Русский дом» (на углу Маршалковской и Скорупки), выходили русские газеты (в порядке очередности: «Меч», «Свобода», «За свободу»), на Краковском возле Медовой был большой русский книжный магазин «Добро». Россияне вливались в польскую культурную жизнь, существовала упоминавшаяся уже «Таверна поэтов», которая понемногу преобразовалась в русско-польскую поэтическую таверну. Частыми ее гостями бывали в 1924–1926 годах: я, Константы Ильдефонс, Владзимеж Слободник⁷⁷, Ежи Либерт⁷⁸, Леонард Подгорский-Околув⁷⁹, Вацлав Денгофф-Чарноцкий⁸⁰; помню на одной из поэтических встреч Тувима и Феликса Пшисецкого⁸¹. В гостях у «Таверны» бывали выдающиеся русские поэты и писатели, эмигранты, приезжавшие в Варшаву из Берлина, Парижа и Праги, как например, Константин Бальмонт, Игорь Северянин. В Варшаве жили Брешко-Брешковский, Михаил Арцыбашев (автор нашумевшего в свое время в России романа «Санин»). В 1925 или 1926 году в Польше концертировал известный русский артист Александр Вертинский, кумир женщин, мировая знаменитость. В «Таверне» он познакомился со студенткой права, варшавянкой Ирусей, златовласой музой кого-то из молодых польских поэтов, приведенной им в «Таверну» на поэтический симпозиум с Вертинским. Кумир женщин, элегантный пожилой маэстро сел за рояль (это было в квартире главного редактора «За свободу» Философова, на Маршалковской у площади Спасителя) и сейчас же заиграл импровизацию, ставшую одной из его красивейших песен. Помню ее мелодичный припев: *«Я вам сердце с эстрады, как мячик, бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирэн...»*. Эта варшавская импровизация Вертинского, которую он спел на следующий день в концертном зале на Каровой, произвела фуррор. А Ируся? Ох, Ируся, наша изменчивая, прекрасная муза – если она еще жива, то наверняка помнит и тот вечер «Таверны», и великого артиста за роялем, и концерт на Каровой. Наверняка еще помнит...

Но все это – и гостиничный номер Цинзерлинга на Козьей улице, и «Таверна», и рыжий, потный Бальмонт, и «Русский дом», и Александр Вертинский – все это потом, через несколько лет, на следующих оборотах пластинки моего варшавского времени. А пока подходит к концу первый день моей Варшавы. Ночь, луна («А ночь и луна – это лунная ночь...»). Пахнет ядовитая сирень вокруг «дач» Городка, алкоголь и огромная, как ночь, ностальгия. Ностальгические, трагические люди «без завтрашнего дня», смрад морального и материального неблагополучия. Это остатки мародеров Балаховича, Бабошко, люди «из-под Савинкова», из похода на Мозырь. Тысяч двадцать этих савинковцев рассеялось теперь по лагерям Польши, но какая-то их часть ускользнула от списков и лагерной колючей проволоки, кое-как поустроилась, кое-как зарабатывает на жизнь, попрошайничает, гнездится вповалку в бараках Городка, на Аннополе, по

⁷⁶ Обширный отчет о деятельности Б. Савинкова в Польше и его процессе в Москве поместил Бронислав Овсянко в журнале «Политика» («Polityka»), № 6 и 7 (1965 г.). – *Прим. автора.*

⁷⁷ Владзимеж Слободник (1900–1991) – польский поэт еврейского происхождения, переводчик французской, русской и советской литературы, сатирик, автор молодежной литературы.

⁷⁸ Ежи Либерт (1904–1931) – польский поэт и переводчик русской поэзии. В 1915 г. был вместе с родителями эвакуирован в Москву, где учился в русской гимназии, а затем в польской школе. В 1918 г. вернулся в Польшу.

⁷⁹ Леонард Подгорский-Околув (1891–1957) – польский поэт и переводчик, историк польской литературы. Вдохновение для своего творчества черпал у русских символистов и из поэзии Адама Мицкевича.

⁸⁰ Вацлав Денгофф-Чарноцкий (1896–1927) – польский офицер в чине капитана, участник Первой мировой войны, солдат Войска польского, поэт.

⁸¹ Феликс Пшисецкий (1883–1935) – польский журналист и поэт, связанный с группой «Скамандр».

углам на разных Пельцовизнах и далеких Волях⁸². У них ужасная столовая на улице Подвале, 3 (в глубине двора – церковка, в левой подворотне столовая), где с утра до ночи клубятся толпы деклассированных бродяг, человеческого отребья и всякого сброда.

Под гигантской луной душно было от *японской сирени*. Под огромной луной мы пили и говорили невпопад, я им о Капцеле и Иванове-Ринове (хотя ни под одним из них никогда не воевал, у меня было свое, морское, тихоокеанское прошлое), я им о японцах и японской оккупации Приморья, об атамане Семенове, они мне о Мозыре, о сражениях под Лунином, о генерале Бабошко и который из них лучше и отважнее, Балахович номер один или Балахович номер два? Мы распевали «Дубинушку» и «Стеньку Разина». Пили, мутнели и чудили, и в конце концов все вместе встали, покачиваясь, торжественно, со стаканчиками из-под горчицы в руках, и стоя пропели «Боже, Царя храни». Нужно же мне было ради этого прибыть в Варшаву с другого конца Земли.

Меня проводили немного, до железнодорожных путей, показали: *иди прямо*, вдоль стены кладбища дойдешь до остановки «первого», а дальше сам доберешься. Пьяные призраки расплылись в пустоте лунной дали. Улица Татарская, перед глазами двоятся и троятся белые упыри-надгробия на мусульманском кладбище. Длинная кладбищенская стена. Есть останков, но Варшаве тогда и не снились ночные трамваи. По многократно проверенному в других чужих городах методу я пошел по трамвайным путям – я знал, что они выведут меня на перекресток Нового Свята и Хмельной. Долгий, долгий поход, медленно, шаг за шагом по улицам спящей лунной Варшавы. Какой-то парк источал запах сирени. Может, это Лазенки⁸³, о которых рассказывал мне отец, но потом я узнал, что это Сад Красинских. Колонна Сигизмунда⁸⁴. Я свернул с Медовой на Замковую площадь и обошел колонну кругом. Это наверняка была та колонна, о которой отец рассказывал как-то за столом в нашем доме на другом конце Земли. Колонна, а на ней король с крестом и мечом. Памятник Мицкевичу был мне уже знаком по открытке. Памятник Копернику, золотые буквы на табличке: «Николаю Копернику соотечественники». За памятником какое-то здание (а через год я буду здесь почти постоянным гостем у дяди, профессора Пшеборского, и его жены. Тут на моих глазах, как я уже говорил, вылетят стекла от взрыва в Цитадели). Здесь я познакомился с компанией учеников и друзей профессора: Ежи Сплавой-Нейманом⁸⁵, Лубеткиным⁸⁶, Сигалиным – братом Юзефа Сигалина⁸⁷, одного из строителей Варшавы после 1945 года. На Краковском и Новом Святе еще оживленно, хотя близок рассвет. Жизнь в центре тогдашней Варшавы бурлила двадцать четыре часа в сутки. Польский язык, только польский язык. Вывески по-польски. Названия улиц на углах домов по-польски.

Я шел в никуда – собственно, на ночлег в новом, чужом городе, но с каждым шагом росло понимание: вот и лопнул первый корешок, первый из тех, которыми я вращал в далекую, далекую почву на луне. Еще недавно я говорил и пел по-русски, но это – не мое. Я славил царя, но царя нет, и вообще он был не мой царь и никогда моим не будет. Я участвовал в чудовищном маскараде на прощальном банкете с трупами, до которых мне не было совершенно никакого

⁸² Аннополь, Пельцовизна – периферийные районы Варшавы.

⁸³ Лазенки (*Łazienki Królewskie*) – крупнейший парк в Варшаве, занимающий 76 гектаров. Дворцово-парковый комплекс лежит в центральном городском районе (Средместье), на Уяздовской аллее, части «Королевского тракта», связывающего Королевский дворец в центре Варшавы с дворцом в Вилануве на юге.

⁸⁴ Памятник королю Сигизмунду III на площади перед Королевским дворцом в Варшаве.

⁸⁵ Ежи Сплавой-Нейман (Юрий Нейман, 1894–1981) – польский и американский математик и статистик, член Национальной АН США (1963).

⁸⁶ Бертольд Лубеткин (1901–1990) – британский архитектор российско-еврейского происхождения, один из пионеров архитектурного модернизма в Великобритании.

⁸⁷ Юзеф Сигалин (1909–1983) – известный польский архитектор и урбанист.

дела. Однако один из этих трупов, имени и фамилии которого я не знал, дал мне хороший живой совет: «*Иди прямо*». Ему-то казалось, что он лишь указал мне дорогу к трамвайной остановке. А это был совет.

Итак, прямо, прямо, прямо, до перекрестка с Хмельной, потом по Хмельной прямо, прямо до гостиницы «Роял», до остановки на пути в Варшаву. Завтра, брат, вставай на ноги и – прямо.

Назавтра я нашел адрес варшавского инженера Новицкого, друга моего отца, который год тому назад приехал сюда из Владивостока. Благодаря помощи и покровительству инженера тем же вечером у меня уже была на Пенькной своя комнатка в квартире с подселением. Я забрал чемоданы из вокзальной камеры хранения. Носильщик укладывал их в дрожки, когда с лавочки у вокзального подъезда встал мой хранитель времени. Он приподнял красную фуражку. Я ответил ему борсалино. Беззвучный вопрос был: «Ну что? *Шановны пан*, устроились?» «Да как видите: у меня уже комната в Варшаве».

По дороге на Пенькную я вслушивался в цокот копыт по мостовой. Он был бодрый и крепкий. Как-то потом на эту бодрость цокота варшавской деревянной мостовой обратил мое внимание Константы. Мы ехали на дрожках (оба любили кататься по варшавским улицам, и он, и я). Он сказал: «Слышишь, какие великолепные ударные?»

Это была не та прогулка с деревянными ударными инструментами лошадиных копыт, а другая, несколько лет спустя. На Краковском положили асфальт. Деревянной брусчатки не было. Мы поедem к Веберу на свиную рульку. На Хмельной (кажется, в доме номер пять, втором или третьем по счету от Нового Свята) располагалась коптильня Вебера, а в ней за магазином – уютная гостевая комната с фирменным блюдом: рулька и свиное ухо с гороховым пюре и тертым хреном. Константы, гурман и обжора, питал пристрастие к рулке у Вебера. Смена места! Едем к Веберу!

Мы неспешно катили в коляске по всему Краковскому, по Новому Святу. «Кресов» по пути больше нет, а чтоб вытащить кого-нибудь третьим или четвертым на рульку, в «Малую Земьянскую» ехать неохота. Мы озираемся с дрожек по пешеходному Новому Святу: не мелькнет ли какая знакомая физиономия. И они, конечно, мелькают, поклон тому и этому, но никто не годится для безмятежной рульки у Вебера. Этот скучный, тот эгоцентрик, третий тоже нет.

Мы сходим, не доезжая до перекрестка у Хмельной, чтобы немного промяться и нагулять «*bon appetit*»⁸⁸. Летний вечер. Тут, как всегда, шумно и людно, мы в прекрасном настроении, безмятежные, безоблачные. Наши жены уехали, Наталья в Калиш, Мария в Пулавы⁸⁹. Еще один повод повеселиться: соломенные вдовцы! Перед Хмельной мы столкнулись с моим хранителем времени. Поклонились друг другу, он нам, мы ему. Мой с ним диалог: «Прекрасная погода, а, *шановны пан?*» «И правда, прекрасная, дай вам Бог здоровья».

В нескольких шагах позади моего хранителя времени шел Станислав Коско. В гражданском. Едва мы надели шляпы, как вновь поклонились друг другу, он нам, мы ему.

«Кто такой? – спросил Константы. – Приятная рожа».

«Мой друг, – сказал я. – Из Министерства промышленности».

Мы прошли еще несколько шагов. Мне стало не по себе, что я наделил Стася Коско такой пресной и несправедливой характеристикой. А ведь это был один из тех необычайных людей, с какими я познакомился в Польше.

Я решил исправить ситуацию и тут же рассказал про Коско побольше. Чиновник, конечно, но временно. Советник в Морском департаменте Министерства промышленности. Но вообще-то он – морской волк. Знает Средиземное море как свои пять пальцев, плывал

⁸⁸ «Приятного аппетита» (*фр.*).

⁸⁹ Калиш – город в Великопольском воеводстве Польши, находится около 250 км на запад от Варшавы; Пулавы – город на юго-востоке Польши, в Люблинском воеводстве. Расположен около 100 км от Варшавы.

по Черному морю. Два года был навигационным офицером на первом учебном судне нашей Морской школы, паруснике «Львов». Теперь собирается в кругосветный рейс на фрегате «Дар Поморья». Знает моря Канады и Северной Америки. Капитан дальнего плавания.

Это ошеломило Константы. Капитан дальнего плавания? Ха! Берем его к Веберу. «Стась, беги за ним, задержи его...»

Я пробовал возражать, но Константы уже вопил в толпу, в которой растворилась фигура Стася Коско: «Эй, капитан, пан капитан!.. Пан капитан, эге-гей!..»

Но Коско наверняка не слышал, он исчез в толпе. А даже если бы и услышал и присоединился к рульке, сиеста вряд ли бы удалась. Со Станиславом Коско я мог проводить долгие, долгие часы, как и бывало (но это уже отдельная история). С Константы также, но это тоже другая история. Эти двое являлись мне из разных измерений. Коско привык дышать привольным морским воздухом, с Коско мы говорили на своем собственном наречии. Он, например, почти плакал со смеху, когда я рассказывал случай из дальних морей и давних лет, как один штурман взял пеленг⁹⁰ на бортовые огни рыбака. Даже если бы Константы что-нибудь понял из этой истории, она точно не позабавила бы его так, как Коско. А иррациональная, утонченная *vis comica*⁹¹ Константы, как мне кажется, не подействовала бы на Коско. Константы находил общий язык практически со всяким новым знакомцем, но с Коско, пожалуй, это было бы нелегко. Им стало бы скучно друг с другом – такими далекими были их пространства и измерения. К тому же Стась Коско относился к поэзии несколько иронично, как к занятию несерьезному, а Константы не было дела до самой большой и единственной страсти Станислава Коско – навигации. Для капитана Коско сизигия⁹² была передвижением водных массивов, вызванным суммированием силы притяжения луны и солнца, необыкновенно важным элементом искусства мореплавания. Для Константы она могла быть лишь бессодержательным словесным орнаментом или названием сказочного острова или женщины. Если бы Константы сказал за рюмкой: «А теперь давайте отправимся на счастливые острова Сигизии», Стась посмотрел бы на него как на полоумного. А потом на меня: мол, с кем ты водишься?.. Такими уж были эти двое, несостоявшиеся собутыльники у Вебера. Такими они были, и потеря их, что одного, что другого, стала для меня, пожалуй, самой тяжелой из всех потерь в Польше.

За рулевой мы еще раз вернулись к теме Станислава Коско. Я рассказал Константы кое-что об этом замечательном человеке и морском волке. Я помню много из его историй о морях всего мира. Константы слушал без особых эмоций, но его рассмешил маленький варшавский эпизод, связанный с Коско, однако не имеющий никакого отношения к мореплаванию.

Моя тогдашняя невеста, Мария, огорчалась долгим отсутствием вестей обо мне. Пароход «Неман» бороздил какие-то далекие, легендарные, в ее понимании, моря, в неизведанных просторах противостоял штормам и бурям. А география была (и остается) для нее сферой несколько загадочной. Поплыл я, значит, в какие-то Африки, к неграм – а может, людоедам? Напрасно было бы объяснять, что Алжир, Тунис и Марокко – это не негры и не людоеды. Письма давно не было – значит, съели. Впрочем, в этой своей географической метафизике она была не одинока: не в ладах с географией был и Збышек Униловский, а цветная карточка, которую он получил от меня из Марокко в заснеженной «Атме»⁹³

⁹⁰ Пеленг – направление от наблюдателя на какой-либо объект, определяемое вертикальной плоскостью истинного, магнитного или компасного меридиана и вертикальной плоскостью, проходящей через место наблюдателя и наблюдаемый объект.

⁹¹ *Vis comica* (лат.) – «комическая сила». Умение заставлять других смеяться.

⁹² Сизигия – положение Луны, когда ее долгота совпадает с долготой Солнца или отличается от нее на 180° (противостояние). В первом случае наблюдают новолуние, во втором полнолуние. Сизигия вызывает особенно большие приливы.

⁹³ Вилла «Атма» была построена в середине XIX в. как пансионат в курортном г. Закопане в польских Татрах. В 1930–1935 гг. в ней жил и работал великий польский композитор Кароль Шимановский. В настоящее время здесь располагается музей композитора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.